

An abstract painting featuring several stylized faces and eyes. The faces are drawn with thick black outlines and are scattered across the page. Some eyes are large and detailed with black eyelashes, while others are smaller and simpler. The background is white, with various colored brushstrokes in blue, red, and dark purple. The overall style is expressive and gestural.

Алла  
Лескова

Что-  
нибудь  
такое

Алла  
Лескова

Что-  
нибудь  
такое

РАССКАЗЫ



# **Информация от издательства**

## **Художественное оформление**

*Валерий Калныньш*

### **Лескова, А. Л.**

Что-нибудь такое : рассказы / Алла Львовна Лескова. — М. : Время, 2021. — (О времена!).

ISBN 978-5-9691-2099-0

Третья книга Аллы Лесковой названа очень точно.

Человек нередко пребывает в состоянии, когда «хочется чего-нибудь такого».

Что просит мятущаяся душа? — всегда вопрос...

Книга завораживающей прозы Лесковой окажется как раз тем, что вы ищете, — «чем-нибудь таким».

Эти небольшие по объему рассказы целительны для каждой живой, пульсирующей, умной души. Наслаждение — это то малое, что они подарят. Автор как будто считывает «мировую душу», поэтому эта книга о каждом из нас.

© А. Л. Лескова, 2021

© Состав, оформление, «Время», 2021

*Посвящаю всем людям, которые в моем сердце*

# ДРУГАЯ

Писатель Анатолий Ким о рассказах Аллы Лесковой

Прочитал с наслаждением, любострастием, с физическим ощущением того, что мозги мои впитывают лучшее снадобье для оздоровления, что-то вроде отвара жень-шеня.

То, что написал некогда мой коллега Ефим Ярошевский о мужественной и нежной прозе Аллы Лесковой (предисловие к первой книге «Фимочка и Дюрер»), — это почти все хорошее, что можно сказать про ее удивительные тексты. Я буду писать за пределами этого «почти». Однако уверен в том, что и сам останусь в пределах «почти», ибо еще кто-то другой, прочитав двух-трехстраничные тексты Аллы, вместимостью в роман или повесть, сможет увидеть в них что-нибудь свое, особенное.

Алла Лескова не писатель, не поэт, она — другая. На Руси вначале не было понятия «писатель». Был летописец, от «писец», потом сочинитель, «господин сочинитель», был «господин беллетрист». А писатель — это уже звучит гордо.

Алла, мужественная и нежная, ироничная и смешливая, никогда не звучала гордо. Но то, что прозвучало из ее опусов, было самое-самое, горестно затаенное, иронией и силою духа преодоленное, не подавленное никаким общечеловеческим и частным сволочизмом, черной болезнью, с которой она борется, — чистый подростковый голос («Подросток» Достоевского) гениальной библейской еврейской девушки, который не будет старческим до самого...

Ах, Аллочка, живите сто лет, как (почти) прожила друг моей писательской молодости Шира Горшман,

писавшая на идише, теща Смоктуновского. А хотите и больше.

Я вот читал ваши опусы и вдруг начинал понимать, что вы рассказываете о какой-то житейской мелочи вроде 1 сентября в школе для слабоумных детей, — и проваливаешься в бездну догадки, что тебе показывают картинку тысячелетней давности. И на бесконечном эскалаторе времени и ты, читатель, и сам рассказчик — отстоите на непреодолимом расстоянии к трогательной картинке. Но что же это за сердце, для которого не существует никаких расстояний и никакой вечности, чтобы нежно прикоснуться к своему подбородку живой маминой рукой.

Были такие писатели. Мишель Монтень, например, или Генри Торо, наш русский Юрий Олеша, которые ни дня без строчки. Но вы, Аллочка, ближе для меня тем, что пишете не лукавствуя в том, чтобы вписаться на века в скрижаль мудрости всечеловеческой, а пишете для того, чтобы дзэнски легко и нежно прикоснуться к тому, что так эфемерно протекает сквозь пальцы, растворяется в пространстве, вызывая легкое недоумение — а стоило ли появляться в этом лучшем из миров.

## СОВСЕМ ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА

Пришла ко мне давным-давно молодая женщина, села в кресло и говорит: «Я лесбиянка».

Киваю и жду. Сказать на такое «это хорошо» — чревато. Дома только мы с ней. Сказать «ну и дела!» — еще хуже. Молчу.

— Но это, — произносит женщина, — для меня не проблема, с этим у меня все в порядке, есть любимая, все у нас хорошо.

Киваю.

— Да, — говорит, — я еще работала до того... как поняла, что лесбиянка... девочкой в пятизвездочном отеле.

Я киваю и молчу. Сказать на такое «вон из моего бесплатного в плане любви дома!» — лишиться клиента. Произнести «молодец, уважаю и завидую» — не совсем правдой будет.

— Но с этим, — говорит, — у меня все позади. Заработала на хорошую квартиру, отличную машину, питаюсь вкусно и полезно, одета. Так что это не то, с чем пришла.

Жду. Молчу.

— Еще, — говорит молодая женщина, — у меня есть судимость, убойная статья.

Я вжалась в кресло и смотрю в окно, скоро ли муж вернется, уже темно, значит, скоро. Киваю, как будто ко мне каждый день убийцы на огонек заходят. Молчу, во рту пересохло.

— Но с этим у меня нет проблем, я не поэтому пришла...

Киваю. Хотя нет проблем с *этим* — скорее плохо. То есть убить не проблема. Ноу проблем.

— А пришла я, — говорит она, — потому, что никак не могу научиться вязать.

— Кого вязать? — в ужасе спрашиваю я, но лицо спокойное сохраняю.

— Крючком не получается вязать, — говорит женщина. — Спицами могу, а крючком ну никак. Думаю, надо искать причины в детстве...

— А что в детстве с крючком было не так?

— Я пыталась повеситься. В двенадцать лет. Но не удалось. С тех пор вот никак крючком вязать не получается. Хочу решить эту проблему.

— Простите, я на минуту отойду, можно?

— Да-да, конечно.

Разрешила.

Я пошла в ванную и стала лицо ополаскивать ледяной водой, а сама села на край ванны, ноги подкосились. Возвращаюсь, а она хохочет, откинув голову, и говорит:

— Расслабьтесь, я все наврала. Проверяла вашу нервную систему. Вы отлично владеете собой! Поразительно просто. А у меня, — продолжает, — на самом деле совсем-совсем другая проблема.

— Какая? — с облегчением, но еще не веря счастью, спрашиваю я.

— Я на самом деле мужчина! Но пол изменил, а люблю по-прежнему женщин. Как быть?



## НАКОНЕЦ-ТО

Сначала я много лет была несчастна из-за щелки между зубов. Эта жуткая щель была источником моей несчастья долго.

Поэтому меня не любят нормальные пацаны в школе, считала я, а только которые с мамой-одиночкой, хулиганы и двоечники. Кому я нужна с такой расщелиной! Только им.

Потом нашелся стоматолог, который что-то придумал, и щель исчезла. Но счастья как не было, так и нет.

Потом я худела. Я думала, что я толстая и никто никогда не полюбит. И худела, и худела. Но меня параллельно любили и любили, а я считала, что они скоро очнутя и ужаснутся, ну как можно такую толстую любить. А пока пусть любят, дурачки. И была несчастлива, ведь меня любят понарошку, как будто. Всерьез такую толстую не бывает, что любят. А они все любят и любят. Боже, как я несчастна... За что?! Зачем они меня любят?! Издеваются...

Потом меня полюбил муж, я расслабилась и стала по вечерам за долгими разговорами мести все подряд и разжирела. Муж продолжал любить, и я была глубоко несчастлива, так как думала: как же так? Ему все равно, стройную или жирную любить? Это ужасно. По идее, должен разлюбить. Терпеливо ждала, когда разлюбит, и тавро несчастливой не исчезало. Да он меня просто не замечает, расковыривала я свою несчастливость. Любил бы, так сказал: мол, ты это чего, прямо корова. Как мне теперь тебя прикажешь любить? А он не говорит ничего, наверное, лень, думала я. Разве это любовь, горестно думала я.

И вот так все время.

То щелка между зубов, то жопа толстая, то щелки уже нет, то диеты, то разжирела, то похудела аж на двадцать кг, а никто не замечает, и ходишь несчастливая. А никому не видно. Хоть серьги надевай с бриллиантами, чтобы и щель заметили, и толщину, и кожу с костями — это когда похудела.

Так и прожила с удовольствием в несчастливости.

То холодильник пора менять, то обои надоели, то города и республики, все надоедало, везде несчастливая.

И наконец привалило счастье! Терпеньё все перетерло. Даже здоровые клетки.

Не счастливая? — получай.

Онкоцентр, наркоз, операция — раз.

Онкоцентр, рецидив, наркоз, операция — два.

И идешь, как сегодня, по осенним мокрым листьям, рот еще кривой после операции, не закрывается, саркастический такой будто, дождь все время, ветер прическу спутал, а я укладывала...

Идешь и думаешь: какая я счастливая. *Наконец-то!*

А в одном учреждении, в прозрачном лифте, во все стороны осенняя красота природы видна, с пацаном лет десяти ехала, и он папе брезгливо и капризно так говорит: какой лифт однообразный.

Тоже несчастливый пока.

# ВНУТРИ

По утрам он поет в маршрутке.

Ранним питерским утром он выезжает на маршрут и гонит пока пустую машину по северному городу. Он поет так громко и надрывно, как будто в родных горах, где-нибудь высоко, на пастбище, один... Он поет и плачет, и, пока нет хмурых утренних пассажиров, вспоминает свою доченьку Наргиз. И еще одну дочь, Саодат, которой на свадьбу приехал заработать, на много гостей и на дом для молодых.

Он поет так надрывно, открыв окно, и ветер, чужой, северный, обдувает лицо и сушит его слезы. Которых нет.

Потому что все они внутри.

## ШАЛАМ ШАБОТ

Меня в коррекционной школе очень любил мальчик Вася с отвисшей влажной губой, он все время говорил, что я красивая.

Через три дня работы в этой школе я поняла, что Вася говорит это всем.

И еще один человек меня любил, наша вахтерша, она же охранник, она же бабушка тоже особенной девочки, которая, наоборот, сама у всех спрашивала: «А я красивая?»

То есть все было правильно. Мальчик Вася говорил всем девочкам, что они красивые (настоящий мужик), а девочка у всех спрашивала, красивая ли она (истинная женщина). Болезнь не изменила в них главного, принадлежность к своей природе.

Да, так вот, вахтерша.

Она меня любила, чаем угощала в своей каморке, конфеты горстями в карманы куртки пихала. От одной не поправишься, говорила.

— А вот ты, Алла, почему в Израиль не уехала? Мама там у тебя, сестра, племянники, дядя...

Эльвира, так звали вахтершу, часто меня об этом спрашивала, но ответ не слушала. А отвечала я ей:

— Там жарко очень, я север люблю.

Эльвира однажды все же услышала ответ и сказала:

— Вот вроде бы евреи не дураки, а зачем страну сделали в такой жаре? Мерзлявые, что ли? Мерзнете все? Вон Россия какая огромная, места всякому еврею хватит... Создали бы здесь свою республику и вот тебе Шалам Шабот.

Шалам Шабот (шаббат шалом) мне очень нравился, и Эльвира не понимала, почему я смеюсь каждый раз.

— Так у нас есть республика еврейская, Эльвира! — говорила я ей.

— Где это? Чего придумываешь? Кто им разрешит, когда самим жрать нечего...

— Есть-есть, — говорю. — Еврейская автономная область, на Дальнем Востоке. Столица есть даже, Биробиджан.

— Да чтоб еврей на Дальний Восток поехал? Вы же мерзлявые, вам где потеплее да посытнее, а там холод и только лагеря, и зэки бродят, любого еврея обидят. Нет, шутишь, конечно, ты, Алла, любишь шутить.

— Не шучу. Правда есть такая республика. Столица даже есть у них...

И тут Эльвира томно закатила глаза, куда-то в воспоминание отправила их, и тихо говорит...

— Ух, Алла, какой у меня в молодости еврей был, какой мальчик, какой горячий, нежный, ласковый, грустный... Я его как прижму, сама улетаю, а он плачет от счастья. Хорошо мне с тобой, Эля, говорит. Вот так бы с ним и пролежала всю жизнь... Потом женился на своей и уехал в Израиль, а я бы с ним даже на Дальний Восток уехала, в автономию вашу, если не врешь... Хоть на Колыму... Хоть куда... Обняла бы и никуда не отпустила. И была бы счастлива всю жизнь... А теперь вот сижу, за больной внучкой слежу, Вася слюнявый мне каждый день говорит, какая я красивая, а я верю, представляешь? А он тебе говорит?

— Он всем говорит, Эльвира...

— А Мишенька мой, еврей тот, ничего не говорил. Только глазами любил. Горячий такой, нежный, грустный... Нет, не только глазами, конечно, любил, все как положено, о-го-го какой, но разговаривал глазами. Как посмотрит — хоть в их автономию, хоть куда бы с ним, в вечную мерзлоту, везде бы поехала. А он взял и в жару свою уехал, в Израиль...

Ну, хоть ты не уезжай, Алла, хорошо, что жару не любишь, я к тебе привыкла, и Анька моя тебя любит,

внучка... И глазами мне Мишку напоминаешь. Как посмотришь... Не уезжай, будем чай пить, конфеты у меня всегда есть... Печеньице вот еще возьми, сама пекла. А там жара все время, у тебя ножки полные, будешь мучиться, ножки растирать до крови... И Васьки с губой там нет, кто тебе будет говорить пять раз в день, что ты красивая?

— Он всем говорит, Эльвира...

— Да знаю я, — сказала Эльвира и отвернулась, стала смотреть в окно.

Долго смотрела, и я тихо вышла.

## ХОРОШО-ТО КАК

Абдуллох и Акобир закончили ремонт в нашем подъезде. Всё сделали хорошо, не придерешься, кайму — морскую волну цвета фекалий — исправили скотчем, выровняли.

А поутру выхожу, а там... красный ковер через всю площадку, прямо от входной двери. С таджикскими узорами.

Красная дорожка! Иди не хочу.

И теперь каждый день я вхожу на эту дорожку, где по-хорошему надо бы идти на высоких каблуках, с голыми плечами и грудями и белыми зубами и под щелканье камер всем кивать, махать и улыбаться. Звезда идет. Звезде дорогу.

И все хлопают и кричат: «Алла! Алла! Каблуки-то какие... Не звезданись...»

Вместо этого я иду в тишине по этой красной дорожке, в черных слипонах на белой резиновой подошве, с арбузом в пакете, в ветровке цвета крабовой палочки, поясница болит, никто не щелкает никакими затворами, ну, вы поняли...

Улыбаться некому, никто не кричит: «Алла!» Никто.

Груды грустны и обвязаны шарфом, холодно.

И только где-то далеко брешают собаки и брешут политики.

А я иду по красной дорожке, и невидимые слезы льются по щекам Кабирии, или видимые льются, но вот точно, как в проходе Кабирии, только она не по красной дорожке, а я по красной.

И никто не закричит: «Алла!»

Разве что заглянут поправить свой ковер Акобир и Абдуллох и тихо скажут: «Аллах акбар...» Или подумают.

А я услышу — Алла...

Красный таджикский ковер в пятиэтажке на Охте,  
в Петербурге, моя красная дорожка.

Господи, хорошо-то как и тихо как.



## ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Мне наш подъезд в Самарканде вспомнился.

Там всегда были открыты двери, весь день, у всех, это уже общее место про открытые целый день двери в те плохие времена... Но что поделать, если это так и было.

Напротив нас жила семья секретаря горкома, этот секретарь была женщина, которую выпилили, вытесали из коры дуба. Волевой подбородок, маленькие глаза, большое грубоватое неженское лицо, профиль индейца. Партийный Чингачгук.

Муж ее был тихий, светлый, моль. Какой еще может быть муж у секретаря горкома... Покладистый, бесшумный, как будто все время проскальзывал мимо, а не проходил.

Была у них дочка с косичками, которая играла гаммы на черном пианино. Светлая, в папу, тоже моль, тихая. Когда дверь приоткрывалась у них, было видно белоснежную накидку на черной крышке инструмента. Мы их называли «стерильные», так было у них нечеловечески чисто. Какое-то безвоздушное пространство. Или, наоборот, воздушное, летали они, скорее всего, по воздуху, поэтому ни пылинки, ни соринки, ни сдвинутой книжки, ни запахов, ни звуков, ни шорохов. Секретарь горкома была хорошая женщина, улыбалась большим лицом с грубой кожей, дежурная улыбка, вежливая, но не фальшивая.

Под нами жили две сестренки, со старшей мы дружили, простодыра такая, безотказная и курноса, а папа их был директором винзавода, обаятельный любимец и любитель женщин. Другим директором винзавода не мог быть. Если бы я столько дегустировала, то тоже бы была любимица и любительница. Жена ничего не знала, как все жены.

Мне давно кажется, что жены существуют для того, чтобы ничего не знать.

Над нами жила рабочая многодетная семья. Муж всерукий, всем все чинил, во всем доме, не пил, денег не брал, и помнится мне, что все ему тыкали, которым он чинил, мужчины тыкали, хозяйева квартир, в которых они были мужьями, но ничего не умели делать руками. И поэтому приглашали этого дядю Петю безотказного. Мне было неловко, что ему тыкают по-барски безрукие мужики, я это помню хорошо — чувство это неловкости.

Его жена, расплывшаяся от нескольких родов, мягкая со всех сторон, тетя Лена растила мал мала меньше, из ее кухни разносились самые вкусные запахи, а самая младшая, Леночка, тоже, как мама, Лена, бродила целыми днями по этажам и всем говорила: здрасти, как ваши дела? Мои хорошо. У Леночки были длинные кудри, простецкое лицо, и она всегда просила нашу собаку — погулять с ней на улице или у нас дома «поиграть с песиком».

Старшие их дети были с норовом, непонятно в кого, но с хорошим норовом, я помню, как трепетали их ноздри от гнева. Иногда мы собирались во дворе, я подлизывалась к ним, взрослым, за это сидела с ними на скамейке южным остывающим вечером, и когда они возмущались чем-то, то ноздри их трепетали. Семейная черта такая была.

Недавно меня нашла эта Леночка, которая бродила по этажам, младшенькая... Живет в Подмосковье. Рассказала, что Петя, старший брат, красавец, погиб в армии, дядя Петя, отец, тоже Петя, они детей своими именами называли, Леночка, Петя... Дядя Петя, которому все тыкали в государстве рабочих, тоже рано ушел. Подружку мою, простодыру, давно зарезал муж из ревности. Осталась дочка, которую воспитала бабушка, жена винзавода. Она до сих пор не знает, что муж ей изменял.

Вспомнила всех, новости эти узнала, закрыла глаза...  
И увидела всех лица, и почувствовала запахи из окон,  
наверняка те же, да услышала шум тополей в ночи под  
желтым от крупных звезд небом. И голос мамы  
из открытых окон веранды.

— Алла, домой, уже стемнело. Слышишь?

— Слышу, мама...

## ПОДСНЕЖНИКИ ОТ ЛЕВОНА

Села в такси, а водитель меня спрашивает:

— Ничего, что я армянин?

— Ничего, — говорю, — в жизни всякое бывает, что ж теперь... Главное, чтобы это не дороже стоило, чем по прейскуранту.

— Нет, что вы, довезу в лучшем виде! — И тут же восклицает: — Жен надо слушаться! Вы согласны?

— Не знаю...

— Жены умнее нас, — продолжает таксист. — Да?

— Да. Если умнее. А если глупее, то нет.

— Как-то вы непонятно разговариваете... Вы вообще русская? — шутит таксист.

— Я еще хуже, чем армянин, — отвечаю.

— О-о-о... Что за день у меня сегодня... Ну, ничего. Зато вы умные. Особенно жены. Жены вообще умнее нас. Моя все с красными дипломами закончила. И школу с золотой медалью! И педучилище с красным! И институт! И курсы повышения! Все с красным!

— Повезло вам, — соглашаюсь. — Таковую жену только и слушаться. Что еще с ней делать?

Тут мы в пробке остановились, и мой водитель подзывает продавца подснежников, который между машинами лавирует. Подзывает и жене подснежники покупает.

— Какой вы молодец, — говорю. — Счастливая жена ваша.

— О, моя жена самая лучшая в мире! Потому что я ее всегда слушаю! А не слушал бы, может, не такая хорошая была бы.

Я задумалась. Молчу. Силлогизм этот разгадываю.

— Да... Вся с красными дипломами! Вся! Ну и вы тоже, наверное, хорошая, — улыбнулся таксист. — Я вам тоже подснежники купил, возьмите.

Я растерялась.

— Спасибо, впервые живые подснежники вижу, правда...

— Ну вот, — говорит, — теперь армян любить будете!

— А вы евреек. Да?

Он засмеялся и отвечает:

— Только никому не говорите, но у меня любовница была давно, из ваших.

— Никому не скажу... Главное, чтобы вы жену слушались...

— О, это золотые слова вы сказали! Приехали! Всего хорошего, осторожно выходите, скользко. Подснежники нюхать будете — меня вспоминайте. Левон меня зовут.

## СПУТНИЦА ТРЕВОГ

Тетя Аня, тетка моей подруги, уехала из России более тридцати лет назад. И вот решила посетить родину, впервые.

Звонит уже месяц, ежедневно, и задает вопросы.

— Что-то я боюсь ехать, если честно, — говорит тетя Аня.

— Не бойся, — отвечает подруга. — Чего ты боишься?

— Всего, — отвечает тетя Аня.

— Ну, тогда не приезжай, — говорит подруга.

— Ты не хочешь, чтобы я приехала?! — потрясена тетя Аня.

— Хочу!

— А что же тогда болтаешь? — возмущается тетя Аня. И продолжает задавать вопросы.

— А ты ездила когда-нибудь из Москвы на «Саксане»? — спрашивает она.

— На «Сапсане», наверное. Да, сто раз.

— И как?

— Что как?

— Как там с безопасностью?

— Нормально, — отвечает подруга и вытаскивает третью сигарету из пачки.

— Прямо-таки нормально? Прямо-таки садишься и доезжаешь такой же, как вошла?

— Тетя Аня, там ехать всего ничего, три часа... Какой села, такой и встала...

— А там кормят? — спрашивает тетя Аня.

— Там предлагают напитки и какую-то еду, да.

— А она свежая, еда ваша? Не отравят?

— Специально — нет, — отвечает подруга и вытягивает из пачки восьмую сигарету.

— А ты сама ела или мне первой предлагаешь попробовать? — спрашивает тетя.

— Ела.

— А что ты так отвечаешь?

— Как? — потихоньку звереет подруга. — Как я не так отвечаю тебе?

— Ну, как-то неприветливо. У вас там все такие неприветливые?

— Нет, только я, — цедит подруга.

— Тогда скажи мне, — продолжает тетя Аня, — в вагоне много пьяных?

— Где? В «Сапсане»? Нет. Вообще нет пьяных.

— Как это может быть, чтобы у вас в поезде не пили?

— Может быть, пьют, но не успевают стать пьяными, — сучит ногами подруга.

— Послушай, а вот расскажи подробно, что там есть? Кресло удобное? Не холодно? Туалет чистый?

— Чистый туалет. Не холодно. Чисто, удобно, светло и тепло. И мухи не кусают.

— В нашем поезде? Не смеши! Чисто... А вот мне тут одна сказала, что там есть бизнес-класс? Может быть, туда купить билет?

— Купи.

— А что ты так отвечаешь?

— Как?

— Невежливо! Вот как! У вас там все такие?

— Нет, тетя Аня, только я.

— Так мне брать бизнес-вагон? Он лучше? Безопаснее? Чище? Теплее?

— Не стоит, тебе будет и в обычном хорошо...

— Но мне сказали знающие люди, что в бизнес-вагоне люди поприличнее!

— В обычном тоже приличные.

— Да? Так ты хочешь или нет, чтобы я приехала? Мы же столько не виделись!

— Хочу, — отвечает подруга и глазами посылает мужа за второй пачкой сигарет.

— Тогда скажи: а вагон по пути не отцепят? И не прицепят к другому поезду? У вас же там бардак кругом! Я все помню!

— Тетя Аня. Слушай внимательно. Тебе надо взять билет в plombированный вагон, ты поедешь, как Ленин, тебя подвезут прямо к броневнику на Финляндском вокзале, а там я буду стоять справа в уголке, в руке красная гвоздика, спутница тревог. Ждем.

— Вот это другое дело, — выдохнула тетя Аня. — В plombированном вагоне я буду намного спокойнее, только еды надо побольше взять, вдруг буфет тоже будет запломбирован.



## ТИХИЙ САКСОФОН

Что ты делаешь со мной, тихий саксофон? Иногда только, снисходительно, клавишным даешь пару минут, а потом льешь и льешь, разливаешь по опустевшей после празднеств гостиничке, еще поблескивающей дождем новогодним, льешь свою музыку, и невозможно уйти и оторваться от окна. А в нем замерзший залив, по нему раскиданы нахохлившиеся черные птицы, рыбаки, каждый далеко друг от друга... Хуторяне. А сегодня эти черные птицы исчезли с залива и перекинулись на ветки деревьев, прикинулись воронами. Холодно и туман.

Вчера по заливу ходили люди, зачем-то подходили к рыбакам, делали их снова одинокими, зачем... Где люди, там всегда одиночество. И только с музыкой, что же ты вытворяешь со мной, саксофон... И только с тишиной зимнего сна... И только с девочкой, восемнадцать не больше, которая спрашивает: вам первое что принести? кофе или сырники?

Первое... Второе... Восьмое...

И только с парнишкой, который первое девочки все принес, и сказал: только по заливу не идите, обещайте, опасно... а то вы глаз с него не сводите. Только с этим всем нет никакого одиночества.

## МУЖ ЧУЖОЙ И ЕГО ЖЕНА

Лужа или озеро, кто как называет, в парке возле дома.

Лет пятнадцать назад я там плавала, и пацаны еще с окрестных домов плавали, все говорили, что нельзя, вы что, ну пацаны — дураки, а вы взрослая женщина, а плаваете. А там, говорили, много трупов на дне, да-да. И еще есть холодные, ледяные воронки, которые затягивают. Если уж плаваете, женщина, опасайтесь этих воронок. Это, говорили люди, еще при Екатерине ее купальни были, а сейчас загадили, пьяные утопшие здесь и воронки, и вообще очень грязно.

Но я видела чистую синюю или серую воду, а трупов чего бояться, они плохого не сделают, и потом морозы такие были долгими зимами, что какая там грязь и зараза.

И я переплывала по несколько раз эту лужу в жару, от которой только в этой Екатерининской некогда купальне и можно было спастись. Где, как все говорили, а потом дети меня ругали и муж, много утонувших. И воронки ледяные, не смей плавать там.

А недавно, еще снег лежал, пошла гулять, а там утки, и первый вопрос у меня всегда, как у Холдена Колфилда: а куда эти зеленоперые на зиму деваются? Они же не могут на юг долететь. Или могут?

Гуляла, вспоминала, как не боялась плавать, хотя все пугали, а пацаны с округи ныряли и говорили, показывая на меня, вот тетя дает.

Ничего не боялась.

Гуляла недавно, и очень красиво там было. Деревья еще без листьев, без листьев они самые красивые, очень красивые со своими кровеносными системами, ветвями-ветками, спутанными волосами... Ничего красивее нет, чем голые деревья, без всяких там клейких листочков. Совершенство само. Япония.

Снег еще лежал, темнело, а в предыдущем нашем доме, который тоже был напротив этого парка, окна горели в нашей бывшей квартире. А я десять лет туда не могла смотреть, и когда мимо проезжала, то голову отворачивала, всегда отворачивала, боялась, что мужа там не увижу, всегда видела его спину у окна на кухне, он любил там сидеть, курить, читать. Когда живой был.

И вдруг впервые решилась и посмотрела на то окно.

Давно другие люди на нашей кухне. Чужие. Стеклопакеты. У нас их не было тогда... Какие-то дети мелькают, не мои. Муж чужой. И его жена. Не я. Балкон застеклили.

Долго и спокойно вглядывалась, спокойно думая, что давно у меня просто другая жизнь, сто пятая, и я когда-то ничего не боялась и плавала в запрещенной луже, а потом боялась только на эти окна смотреть, а теперь и этого не боюсь.

## УТРЕННЯЯ СОБАКА

Ночью резко потеплело и стало душно. Я открыла окно, но все равно не могла уснуть, совсем не спала, ворочалась.

А утром встала рано на работу.

Вышла в тихий воскресный двор и ослепла от белого цвета. Всю ночь, значит, шел снег. Понятно, почему не спалось. Уже давно я не могу уснуть, когда ночью идет снег. Наверное, кто-то — кто? — как бы толкает меня специально, чтобы я не проспала эти мгновения.

Кто так нарисует? Никто. Быть может, лучше, но не так.

Долгие часы шел снег, всю ночь.

А утром снег очень белый, высокий и рыхлый, и осторожно ставишь ногу, потому что под такой красотой почти всегда опасность — лед или ямы. Как под любой красотой.

Но сегодня я шла по следу и не боялась.

След проложила утренняя собака, она пробежала как раз по той тропинке, которая ведет к моей остановке. И я шла точно по ее маленьким круглым следам, как по следам ангела-хранителя, если бы он мог летать по глубокому снегу.